

Далекое близкое



НИКОЛАЙ ЯКИМЧУК
драматург, издатель

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил факультет журналистики ЛГУ. Работал в ленинградских газетах. Главный редактор альманаха «Петрополь». Автор 9 книг поэзии и прозы, куда вошло и 12 пьес.

Это факты биографии, твердо стоящие на земле, которые можно потрогать и документально проверить. А далее в творческой биографии Николая начинается головокружительное парение: за 20 лет издал 300 книг поэзии и прозы авторов, принадлежащих иной, еще культурной действительности, доигрался до театральных постановок некоторых своих пьес в Петербурге и Риге, мучая режиссеров своей укорененностью в традиции абсурда. Допился до переводов своих пьес на английский, немецкий, польский языки. Додружился со знаменитостями настолько, что и сам получил приз «Ника» в 1992 за участие в написании сценария документального фильма «Черный крестный. Дело Иосифа Бродского». И все легко, без всякой задней мысли, ну разве так, немного подработать. А в последние два года начал живописать красками на холстах, да так интенсивно, что набралось на пять персональных выставок самого наиабстрактнейшего искусства. Под натиском его обаяния сдавались телепродюсеры, спонсоры, директора театров.

А для чего, спросите вы, всего так много? По всему видно, что ни для чего, чтобы жить. Это такой образ жизни. Творить и вытворять — однокоренные слова.

О СЕРЁЖЕ КУРЁХИНЕ ПЕСНЮ ПРИДУМАТЬ ХОТЕЛ...

Курёхин. Серёжа Курёхин. Яркая, блистающая комета. В бесконечном и непостижимом мироздании.

Мы познакомились на книжной ярмарке в Манеже, где Серёжа, как страстный книголюб, выискивал редкие фолианты. Рядом с ним, словно верный оруженосец, блистал белозубой улыбкой Сергей Бугаев — Африка. Прославившийся к тому времени благодаря фильму Сергея Соловьева «Асса». Мальчик-Бананан.

Серёжа сразу подкупил каким-то необычайным интересом к собеседнику, ко мне то есть. Они купили у нас первый том Юрия Лотмана — легендарного тартусского отшельника, тихого гения. Второй том мы обещали им вручить, как только он появится из печати.

Так произошло наше знакомство, перешедшее в тонкую, не поддающуюся коррозии дружбу. Удивительное дело: мы ни разу не поссорились с Серёжей. Хотя по слухам он умел ссориться с людьми круто и бесповоротно. Не знаю — с чем это было связано? С особенностями наших личностей, с нашими гороскопами или свыше нам был дан счастливый шанс постигнуть друг друга в этом мире легко, свободно, без эксцессов. Во всяком случае, у нас возникла, мне кажется, колоссальная взаимная симпатия. Не было того, что называется, «не разлей вода». Мы виделись редко, но прицельно точно.

Помню нашу встречу возле Дома актера на Невском, 86. Блистающее синее небо. Жара. Май или июнь. Мы встречаемся в этот день, чтобы обсудить дальнейшую судьбу альманаха «Петрополь», который я издавал в те годы с энтузиазмом и вдохновением. Серёжа неожиданно, благородно, по-братски предлагает финансовую помощь в осуществлении проекта, который мне кажется в тот момент чрезвычайно существенным и актуальным.

— Сколько нужно денег? — спрашивает Курёхин.

Я столбенею, ибо никто из не имеющих отношения к журналу, не собирается просто так, за здорово живешь, ему помогать.

Один Серёжа Курёхин в целой Вселенной.

Я называю ту цифру, которая покрывает весь издательский процесс. Шестьсот долларов. Год 1993 — деньги большие.

Серёжа говорит: «Я поговорю с людьми, думаю, что я смогу их убедить дать эту сумму безвозмездно».

Я снова удивлен и слегка потрясен щедростью и энтузиазмом его натуры. Я слабо верю в происходящее. Таких обещаний и разговоров я слышал много. Результаты были скромные. Люди исчезали вместе с обещаниями в дырявое пространство. Поэтому встреча, которую мы назначаем на завтра на Пушкинской, 10, мне не представляется такой уж неизбежной.

Итак, полдень следующего дня, обшарпанные стены еще не отремонтированного двора Пушкинской, 10, где с утра в поисках, чем бы похмелиться, бродят величайшие и непризнанные гении всех времен и народов. Я стою во дворе, а небо все наливается, синее. Минуты капаят, секунды скачут,

а Серёжи все нет. Я понимаю, что он прекрасодушный и гениально-наивный, естественно, не смог собрать тех денег, о которых обещал. Я ценю его порыв и прощаю ему несовершенство наших усилий в этом мире.

И вот уже когда я увидел всех дворовых гениев Пушкинской, 10 в вертикальном, горизонтальном и наискосок состоянии, я понимаю, что пора уходить в нашу контору. А собственно говоря это склад, где лежат сверхдуховные книги, а по стенам сочится вода, поскольку дом давно отправлен на капремонт, но его неожиданно и преднамеренно захватили небритые сердцем художники.

И тут, словно неопознанная комета, появляется Серёжа с каким-то оранжевым тюком на плечах.

— Извини, — говорит он, — припозднился, выбирал подарок для дочки. У нее сегодня день рождения.

И мы заходим на наш сквот-склад и Серёжа выбирает для себя книги, которые мы успели издать к тому времени. Книги, полные энтузиазма и неистребимых надежд. Среди авторов того времени помню Виктора Соснору, Якова Гордина, Владимира Уфлянда, Александра Володина. Все эти книжки перекачываются в Серёжин рюкзачок, наша встреча подходит к финалу, о деньгах же ни слова... И тут застенчиво замаявшись Серёжа достает пачку жирных американских долларов и говорит, словно извиняясь: «Вот тут только половина суммы. Больше не смог достать». Я, конечно же благодарю, благодарю с удивленным энтузиазмом, поскольку уже и не чаял увидеть обещанное.

Потом, спустя какое-то время, меня озарила догадка. Наверное, Серёжа так и не смог достать никаких спонсорских денег, принес свои, личные. Но я так никогда и не спросил у него об этом, и не спрошу уже теперь.

Помню какие-то наши невнятные и прекрасные прогулки по Невскому.

— Знаешь, — фантазирует он. — Вот сейчас будем ставить памятник Воробью на крыше одного из домов, я уже договорился с властями.

— Почему именно Воробью? — об этом толком не знает и сам Серёжа.

— Понимаешь, — говорит он. — Приехал в Германию, дал несколько пресс-конференций. Братья-тевтонцы, говорю, давайте прославим воробья. А они — ни гу-гу. Я и так, и эдак. Затаились и молчат. Тогда, будучи в Норвегии, обратился к «викингам». Им эта идея показалась чрезвычайно увлекательной и убедительной. Уже когда я вернулся в Питер — вослед присылали мне макеты и проекты памятника незамутненные норвежцы.

Памятник Воробью Серёжа так и не успел поставить. Но сама крылатая идея до сих пор витает в воздухе.

И тогда же, в те дни, собирался он разбрасывать над городом семена самых разнообразных цветов. По его замыслу флоксы, петунии, розы должны были произрастать среди каменных мешков петербургских.

Серёжа фонтанировал, развивал. А я слегка укрупнял его мысль.

— А давай вспашем Невский проспект и покроем его цветником, каким и Петр не представлял себе этот вымышленный город?!

Но Невский мы так и не вспахали, и жизнь уже прошла гигантская с тех пор. Губернатор-разрушитель Валентина Ивановна Матвиенко и ее подручные строительные компании половину Невского уже снесли... Как бы на это реагировал Серёжа? Наверняка, устроил бы какие-нибудь веселые и экстравагантные акции в пользу сохранения Петербурга.

Звонит однажды:

— Слушай, — говорит. — А давай вчиним иск КГБ за смерть Мандельштама! Вот ваш Фонд русской поэзии и прозвонит. А то скучно живете, малоталанливо. Вчиним иск на миллион долларов!

— Серёжа, — говорю. — Побойся Бога! Как можно Мандельштама вообще конвертировать в деньги?! Тут же Александр Исаевич Солженицын возмутится! Да и не только он!

— Так это и классно, — возражает Серёжа. — Иначе о твоём скучном Фонде никто и не вспомнит!

Уже и тогда, в 1994 году, Серёжа понимал, что будущее нашей информационной цивилизации в странных и неожиданных PR-ходах. Он как бы провидел будущее время, всматриваясь в него мимолетно, но зорко.

Какая-то щемящая нота все время звучит во мне, когда я думаю о Серёже, вспоминаю его. А вспоминаю я его часто. Мы с ним неспешно беседуем, пьем кофе, коньяк. Он мне интереснее многих и многих жующих рядом со мной современников.

Иногда мы жили запараллеленно жизнью, если можно так выразиться. Беседуем вечером о прошедшем дне.

— Слушай, — говорю я Серёже возмущенно. — Ребята, которые вместе со мной издавали книжки, оказались просто-напросто тихими советскими ворами. Тайно от меня продавали тиражи альманаха «Петрополь», посвященного Сергею Довлатову. И сегодня я об этом узнал. Что делать?

Поскольку я человек мягкий, хотя и взрывной, всегда мучаюсь подобными вопросами. Впрочем, эту бациллу сомнения привил нам еще Чернышевский Н.Г., Царствие ему небесное.

— А я сегодня выгнал своего директора. Окончательно и бесповоротно. И не только за воровство!

Дальше наш разговор увязает в бессмертных добродетелях. Добро, зло, христианские заповеди. Тут Серёжа всепонимающ, но и резок одновременно.

— Нет-нет, — говорит он. — Мы расстались навсегда.

А я все пытаюсь оправдать своих милых, слабых, вороватых, талантливых сотрудников. Впрочем, рождается и бессмертная ими вдохновленная эпиграмма: «Буренин и Брок воруют впрок!» Серёжа хохочет, как умеет смеяться только он — по-моцартиански коротко и весело.

Я называл и называю его Моцартом наших дней. При всем разнообразии его интересов, его пристального и удивительно точного проникновения во все сферы бытия, он ведь успевал и замечательную музыку писать. Но когда? Меня это тоже чрезвычайно волновало, поскольку, отдаваясь практической деятельности, не очень получалось творить стихи, рассказы, пьесы.

— Понимаешь, — объяснял Моцарт Невского проспекта. — Иногда я сочиняю в метро (он ездил только в метро! — реже на автомобилях друзей). И вот сквозь шум и ветер метрополитена приходит какая-то мелодия, какой-то музыкальный ход. И потом, уже поздним вечером, после всяческих разнообразностей, я отключаю телефон и до двух-трех ночи работаю.

— А если, — уточняю я у Серёжи, — ты забудешь эту мелодию навсегда?!

— Что ж, — он настроен философически. — «Такова се ля ви». Значит, и не нужно было появляться этой мелодии на свет.

Конечно, Серёжа мог себе позволить купить автомобиль. Более того, его верная спутница Настя прекрасно водила авто.

— У меня же, — говаривал Серёжа, — необъяснимый пространственный кретинизм. Обязательно врежусь в какой-нибудь столб. А зачем мне куда-то врезаться? Я и так слишком сильно врезался в это дикое и необъяснимое понятие под названием «жизнь».

Встречи, годы. Годы, встречи. Забавные фрагменты и осколки разноцветных и неповторимых дней. Фонд русской поэзии, который я тогда пытался создавать, но так по русскому раздолбайству и не утвердил окончательно. В те годы все же искал нестандартных путей решения...

Заходит Серёжа в нашу заплесневелую сырую каморку на Пушкинскую, 10. Холод, зима, Ельцин, отключили электричество. Серёжа, как Державин, с морозу, с холоду в ватерклозет. А там у нас, поскольку сырость несусветная, распустилась, выросла по трещинам в стенах и потолке невыносимой красоты плесень. И узорчатые, звездчатые переплетения настолько поражают Серёжу, что он от восторга орет первозданным криком индейцев племени Сиу или Чероки.

— Вот это картинка! — восторженно выкатывается из ватерклозета, — надо бы заслать знакомых фотокорреспондентов из Франс-пресс! Такого чуда природы я никогда не видел в нашем славном городке.

— Вообще-то, — фонтанирует Серёжа — хорошо бы снять эдакое мистическо-артистическое кино! И на Каннский фестиваль!

Куда подевались эти наши талантливые мгновения? Осталась Серёжина музыка, фестиваль его имени, который из года в год, несмотря на все рифы и мели, проводит его верная подруга жизни и смерти Анастасия Курёхина.

Еще одна его черта — раскованная коммуникабельность. Помню, гуляли по Невскому (и поверьте на слово — это были легкие, бездумно-осмысленные прогулки). К нам подходят двое молодых, и надеюсь талантливых, обращаются к Серёже, который был тогда узнаваем, поскольку его любили снимать телевизионщики.

— Сергей, извините. Вот мы тоже пытаемся сочинять музыку. Не могли бы вы нас прослушать. У нас есть даже кое-какие записи.

С необычайной легкостью и без всякого чванства Серёжа дает свой домашний телефон.

— Звоните, — ободряет он ребят. — Встретимся, послушаем!

Я не знаю такого второго человека в Питере, обладающего статусом Звезды, кто бы так свободно и непринужденно выдал свой домашний телефон.

И это не всеядность Серёжина, а его немыслимый демократизм и элитарность, аристократизм. Безусловно, Серёжа был человеком дворянского сословия мутных девяностых.

Или, помню, как приехала из Бельгии молодая, одаренная пианистка Полина. Сейчас не буду объяснять, как мы познакомились, но талантлива она была определено. Это я понял, блуждая по Брюсселю и наслаждаясь ее музыкальными эскападами.

Мы встречаемся с Серёжей довольно ранним утром возле метро «Пионерская», где он жил тогда, и где у родственников остановилась Полина. Опять же, при всей своей грандиозной занятости, многочисленных записях для кино, концертах по всему миру, Серёжа находит время для, казалось бы, и совершенно ему не нужной встречи. Я до сих пор искренне не понимаю — зачем ему нужно было тащиться на это randevu. Метафизический интерес и жадность ко всем уголкам и потаенным моментам нашего земного существования? Наверное, только это. Иначе, по-другому я объяснить не умею.

Полина! Играла вдохновенно. Поляну музыкальную «накрыла круто». Помню почему-то дословно фразу Серёжину: «К пианизму у меня никаких претензий нет». Меня, видимо, поразило это редкое слово «пианизм».

Помню потом, за чаем, Серёжа всячески восхищался Полиной. Пил послеконцертный чай весело и талантливо. Мы растались на смешной станции метро под названием «Пионерская», благословили Полину. Где она теперь?..

А Серёжа Курёхин по-прежнему остается Капитаном этой странной непостижимой субмарины под названием Петербург-Ленинград. У него такая кличка и была — Капитан. Действительно, он был одним из неформальных лидеров этого умышленного, загадочного, непостижимого города.

Одна из ярких запоминающихся «Поп-механик», случившихся в самом большом концертном зале Петербурга «Октябрьский». Как всегда Серёжа наипричудливейшим образом соединял классических и авангардных музыкантов, западных и российский актеров, домашних животных и милиционеров. Не помню всех нюансов этого роскошного запредельного действия. Серёжа вдохновенно репетировал на сцене, весь — комок энергии и точного знания о том, что должно произойти. И даже здесь, отмечаю, он на секунду прервал репетицию, чтобы радушнейшим образом поприветствовать меня. Иногда мне тоже случается быть в центре каких-то крупных акций — ощущения сложнее — не до общепринятых реверансов. А Серёжа как-то ухитрялся и в этой творческо-человеческой густой массе найти время для приветствия. Потом, постепенно, действие закарнавалило, захороводило, все смешалось в «доме Курёхина»: люди, кони, кролики. Да, да, именно кролики были в тот вечер, пожалуй, главнейшими участниками сверхгениального безумия. И все ждали именно этого кульминационного момента — появления кроликов на сцене лучшего концертного

зала Петербурга. Болтался я за кулисами и вдруг подскакивает ко мне маскарадно разряженный человек и спрашивает в необыкновенной ажитации: «Так когда же кроликов будут выпускать? Не знаете?»

Помню и Юрия Белишкина — экс-директора группы «Кино», тогдашнего концертного «ДДТ», человека незаурядного, ткущего на досуге афоризмы и забавные фразы.

— Смотри, — подмечает он. — Весь город сегодня здесь. Вон Валера Плотников, а вот Эдуард Хиль с Гребенщиковым. Вот что значит Курёхин!

Наверное, о феномене Курёхина будут еще и говорить, и спорить, и у каждого, кто знал Серёжу, остался свой образ. Это — неизбежно. Но определенно можно сказать, что более яркой и независимой кометы в 90-е годы в Петербурге не было.

В последнее время как-то устал он от пианизма, и когда я просил его дать благотворительный концерт все в пользу того же Фонда русской поэзии, Серёжа с полуусталой улыбкой говаривал: «Я для тебя что угодно сделаю, только не концерт. Я тебя прошу!». И когда он приходил в нашу празднично-заплесневелую контору на Пушкинской, то возникали забавные разговоры.

— Я лучше у вас в Фонде клерком буду. А что? Красиво звучит — клерк Фонда русской поэзии Сергей Курёхин, прием по вторникам и четвергам с трех до пяти. Буду беседовать о высоком с поэтами, а особенно с поэтессами.

— Отлично! — подхватывал я, — завтра же размещу это объявление во всех информационных агентствах Ленобласти и мира.

— Нет-нет, — на всякий случай возражал Серёжа. — Я еще не дал окончательного согласия. И он лукаво улыбался.

Вот эта готовность в любую секунду изменить окружающий мир, нарушить его границы, поменять правила игры, и было, наверное, главным Серёжиным состоянием.

Абсолютное спонтанное творчество и готовность взорвать устаканившийся мир.

Одна из самых известных его работ — это музыка к фильму «Господин оформитель». Убежден, что участие Серёжи позволило сделать этот фильм, на тот момент, культовым. Да и сейчас еще «Господин оформитель» пользуется в некоторых элитарных кругах заслуженным вниманием. Выньте из этого фильма музыку, и он рассыплется на кадры. Пела там блистательная Марина Капура.

Так вот, повторю: Серёже надоели концерты и отчасти сочинение музыки. Хотя, думаю, это была временная усталость художника. Пауза. Накопление творческих сил. Но энергию надо было на что-то тратить.

Помню в каком-то зачуханом и заплеванном кинопрокате, где в основном прокатывались боевики и порнофильмы — под видом высокой эротики, я обнаружил киношедевр и великолепную музыку Сергея к нему. Ни больше, ни меньше речь идет о «Трех сестрах» Антона Палыча Чехова в интерпретации кинорежиссера Сергея Соловьева.

Пронзительная и горькая интонация Серёжиных мелодий сразила наповал. Этот фильм практически нельзя было увидеть в тот момент, да и сейчас, честно говоря, я не могу достать это кино даже в Питере, в крупнейших кинолавках. Помню, Серёжа был очень растроган и удивлен, что мне эта музыка понравилась. Ведь там почти не было авангарда, а была простая, ясная, возвышенная интонация.

...И поскольку Серёжу последнее время утомляло публичное исполнение музыки, то он с решимостью гладиатора бросался в новые изящные авантюры. Но даже и не авантюры. Просто придумали вручать ежегодно в Царском Селе «Царскосельскую художественную премию». Образовалась инициативная группа — разных, непохожих — в которую входили: ваш покорный слуга, кинорежиссер Александр Сокуров, поэт и композитор Александр Дольский, поэт Виктор Кривулин, меценат Борис Блотнер и Серёжа Курёхин. Куда же без него, а главное — зачем?

Помню одно из первых вручений в Царскосельском императорском лицее в канун годовщины Лицея — 19 октября. Хрупкий, звонкий ледок под ногами. Уже деревья осенние лицейские напряглись — к зиме. Мы идем в густеющих сумерках по лицейскому саду. Рядом: Серёжа, драматург Александр Володин, режиссер Роман Виктюк. Роман, конечно солирует. С одной стороны, он как всегда аристократично-изысканно ироничен, а с другой, как бы предельно скромн, поскольку он «всего лишь незначительный лауреат в тени великого Володина». Мы наслаждаемся опьяняющим хрустальным воздухом этого неугасимого вечера.

— А что, — предлагаю я, — Роман Григорьевич! Не поставит ли Вам в натуральных октябрьских оранжевых декорациях спектакль?!

— Да, — оживает Серёжа. — Я как раз вчера замечательную музыку написал. Абсолютно осеннюю и абсолютно невинную.

Потом, уже в Лицее, мы сидим в том самом знаменитом Державинском зале. С трепетом и радостью вручаем награды лауреатам. Виктюк театрально смущается, опускает глаза долу, произнося лауреатскую речь.

Становится душно от обилия публики и телекамер, зал-то небольшой. И мы позволяем себе снять пиджаки, хотя и сидим в «президиуме» по праву скромных учредителей этой премии. Сначала, конечно, снимает Серёжа, как человек более раскованный и свободный. За ним уже тянусь и я. Жарко ведь. Я остаюсь в какой-то немыслимой «водолазке» производства одесского морского кооператива с Малой Арнаутской улицы.

Помнится, какая-то из местных газет строго попеняла нам впоследствии. Как же так, в таком святом месте, они, эти невежды, посмели снять пиджаки в присутствии теней пушкинских лицейстов во главе с Державиным!!!

Во всяком случае, осталась даже видеозапись этого вручения. Отчего-то Серёжа свою «тронную» речь начал с того, что в последнее время увлекается микробиологией и, мол, когда он рассматривает в микроскоп комара, то у него возникает ощущение целостного и абсолютного постижения мира культуры и искусства.

— А, по большому счету, — подытоживает Серёжа, — в культуре я вообще ничего не понимаю.

И Саша Дольский с такой же талантливой иронией начинает полемизировать с Курёхиным.

Летучий Курёхин. Везде и всегда успевающий, вездесущий. Вот захотелось стать ему издателем, поскольку все остальные творческие дела и профессии он как бы уже освоил.

И вновь он собирает под свои курёхинские знамена людей, которые никогда прежде не встречались, хотя отдаленно и слышали друг о друге.

— Я стяну все силы. У нас будет несколько отделов. Мы создадим крупный издательский дом. Скажем, для богатых коллекционеров мы будем выпускать дорожные книжки в кожаных переплетах с золотым тиснением. Будет у нас и музыкальный отдел. Его возглавит критик Андрей Бурлака.

— Ты, — обращается он ко мне, — надеюсь, займешься современной литературой. Будет у нас и философское направление.

Первыми предполагаемыми книжками были сочинения Ширали и Кривулина — Серёжа хотел издать их, поскольку в свое время именно эти поэты оказали на него мощное влияние.

Мы встречаемся, знакомимся, и бродим веселой и энергичной стайкой по городу, присматриваем какие-то подвалы под будущее издательство. Зачем-то Серёжа нас ведет во французское консульство и отчего-то представляет наш проект вежливому чинному и чиновному французу — приятелю своему, атташе по культуре.

Эти броуновские брожения, эти литературные дрожжи практически оканчиваются ничем. Единственное — мы успеваем выпустить с Серёжей книжку Александра Эткинды «Эрос невозможного. История психоанализа в России». Но к тому времени, когда книга выходит, Серёжа уже успевает поссориться с меценатами-финансистами этого проекта. И его фамилия исчезает с оборота титула. Остается только моя. Но, тем не менее, когда книга появляется из печати, мы с ним радостно отмечаем выход первого и единственного нашего фолианта. Серёжа даже кому-то надписывает эту книгу как Издатель.

Еще один издательско-музыкальный проект — из последних Серёжиных. Уже после смерти его, мне подарил этот диск мой друг — блистательный джазовый музыкант Слава Гайворонский. Кажется, издательский музыкальный лейбл назывался «Длинные руки». Слава сказал, что Серёжа сам позвонил и предложил записать такой диск. Когда я прослушал его, то был потрясен, удивлен, растерян — там почти не было музыки, а была лишь вселенская труба Гайворонского и некие музыкальные паузы, одухотворенные пустоты. Честно говоря, я давно не переслушивал этот диск, да и выпущен он был каким-то абсолютно мизерным тиражом — для тех эстетов и гурманов, которые практически перевелись в наше время.

Теперь о самом трудном. Тема ухода. То, что мы покинем этот фантастический мир когда-то, все и навсегда, ни у кого как бы и не вызывает сомнений. Но мы зачастую отодвигаем эту дату ухода и живем, словно бессмертные боги. Правда, не очень талантливые и всемогущие.

...Вот дошли вести о Серёжиной болезни. Не помню всех обстоятельств и многомерных усилий наших, дабы помочь Курёхину. Заболевание редчайшее: ангиосаркома сердца. От этой болезни когда-то умер знаменитый питерский баскетболист Александр Белов. Конечно, Серёжина жена Настя героически и безупречно делала все от нее зависящее. Нужны были большие деньги для пересадки сердца и легких — и где-то во Франции это уже тогда делали, но опять же никто не мог поручиться за конечный результат. Помню, я придумал аукцион картин питерских художников в пользу Серёжи. Картины дали многие известные художники: Глеб Богомолов, Тимур Новиков, Виктор Тихомиров, другие «Митьки». Длился он три дня — каждый житель города мог приехать и купить картину — в пользу лечения Курёхина. Может быть, реклама была недостаточна, но все же несколько работ купили — в последний момент. Приезжал Кирилл Набутов. Одну из работ купила жена писателя-сатирика Семёна Альтова.

Был назначен и благотворительный концерт в ДК Ленсовета, который должны были вести мы с Дмитрием Нагиевым.

Иногда, навещая Серёжу, я болтал с ним о чем-то лёгком, малосущественном. Говорили и о нашей Царскосельской премии. Серёжа был очень воодушевлен. Даже лежа на больничной койке и обмотанный какими-то немислимыми проводами. Мы с ним утвердили некоторые кандидатуры, в том числе Резо Габриадзе.

— Вот я поправлюсь и подтяну к премии все резервы. Увидишь! Будет нескучно!

К этому времени у него на груди уже образовался шрам-крест — от первой операции. И мы опять шутили в больничной палате, сочиняли наброски некоего романа — об итальянском мафиози, попавшем в переплет. Прообразом этого персонажа и был сам Серёжа. Словом, держался он мужественно и, по возможности, бодро.

Ему не сообщали диагноз, да так и не сообщили до самой смерти. Наверное, это было правильно, хотя... Бог знает, как реагирует наш организм на точную и стрессовую информацию — иногда известны примеры чудодейственных исцелений. Уже в своей последней больнице (на Васильевском, им. Ленина) Серёжа мучился сильнее, ему давали обезболивающие. Он восклицал недоуменно и по-детски: «Лечите меня скорее, лечите!»

Благотворительный концерт в пользу Курёхина был назначен на 11 июля. За несколько дней до этого Серёжа, увы, скончался. Что делать? Я позвонил Насте с этим вопросом. Семья решила, что концерт отменять не будут — теперь деньги могут понадобиться не только на похороны, но и маленьким детям. Совсем недавно у Серёжи родился сын Федор.

Помню еще одну существенную деталь — почти одновременно Серёжа стал и отцом, и дедом. Курёхин с каким-то радостным удивлением говорил: «Представляешь, и старшая дочка родила, и жена».

Итак, проводим уже концерт памяти Сергея Курёхина. Выступать там должны были Александр Дольский, группа «Колибри», Олейников и Стоянов, Михаил Боярский и др. Словом те, кто отозвался в Питере на мою просьбу о благотворительном концерте.

И тут возникла коллизия — некоторые артисты, уже заявленные в афише, сказали, что не смогут участвовать, поскольку, мол, не прошло еще и сорока дней после смерти, и, наверное, это будет неправильно. Во всяком случае Стоянов и Олейников сказали, что они сами что-нибудь сделают для семьи Серёжи Курёхина, а в концерте они участвовать не будут. По этим же соображениям отказался и Михаил Боярский.

Когда я растерянно сообщил об этом Саше Дольскому, он отреагировал на это остроумно-философически.

— Понимаешь, — сказал он, — ведь в Библии ничего не сказано о благотворительных концертах. Когда их можно давать — через сорок дней или через пятьдесят. Я думаю, что если дело благое, то всегда можно выступать. Зная Серёжу, уверен, что он нас не осудил бы, а поддержал. Давай я позвоню Боярскому. Думаю, что смогу его убедить.

И, действительно, Боярский пришел на этот вечер.

Помню, что атмосфера в зале была чуткой и нежной, печальной, но не тотально скорбной. Дима Нагиев читал простые и ясные стихи собственного сочинения в качестве связующих действо.

А до этого было отпевание в церкви на Конюшенной, где отпевали и Пушкина. Народу было море. Запомнились слова священника, который сказал примерно так: «Серёжа пытался играть на всех клавишах рояля в нашем мироздании: и на черных, и на белых. Это очень трудно, почти невозможно. Вот сердце и не выдержало».

Потом — под сосны, в Комарово, где неподалеку покоятся Ахматова, Володин, семья Лихачёвых...

Иногда мне кажется, что Серёжа по-прежнему среди нас. Его легкокрылая поступь ощущается в самых немислимых эпатажных проектах. Я чувствую его невесомую изящную субстанцию на вернисажах, вечерах, концертах талантливых петербуржцев — там, где его товарищи продолжают варить клейкое варево искусства: Толя Белкин, Витя Тихомиров, Серёжа Бехтерев (царствие небесное, только что умер), Глеб Богомоллов, Олег Каравайчук, Михаил Шемякин, Саша Баширов, Боря Гребенщиков и другие неофициальные лица Санкт-Петербурга.

Но на главное место — Серёжи — никто не может претендовать, да и не хочет. Нет ни у кого той исполинской дерзости, которая была свойственна ему. Нет ни у кого той великой созидательной и одновременно разрушительной энергии, которая была присуща ему одному.

Но город по-прежнему существует, влачится, тянется сквозь ледяное время и крошащееся пространство, тянется. Уже наполовину, а, значит и окончательно, снесен Невский проспект. Изгнана тень Гоголя. КитайСтрой продолжает осваивать невиские берега. И только чистая нота Серёжи звенит-поет, бродяжит, осеняет нас, даря надежду.

Сейчас, когда я диктую эти мемуары, позвонил Юра Шевчук и рассказал историю о том, что один из первых радиотелефонов тогдашних он передал Серёже уже в больницу для бесплатного и бесконечного общения с миром.

— Гигантского размера трубка, — говорит Шевчук. — Я её храню дома в память о Курёхине.

И тут я понимаю, что творчество зрелого Шевчука, как это не парадоксально, зависит и от крохотной, навеки талантливой, алмазной пылинки-планеты по имени Сергей Курёхин. Эта планета все дальше удаляется от нас в бесконечном мироздании. Но мы по-прежнему ощущаем ее живительные токи. Музыка Серёжина и по сейчас в наших сердцах...



Н. Якимчук. Движение

ДАВИД САМОЙЛОВ. «Я — ЧЕЛОВЕК НЕОЖИДАННЫЙ»!

Давид Самойлов был личностью многообразной. Мудрец и гуляка. Остролов и мастер почти научных формулировок. Просветленно, моцартиански смотрящий на мир, но иногда по-ницшеански упadaющий духом.

Непостижимым образом все это разнообразие уживалось в одном человеке.

Гармония искала поэта Д. Самойлова и он отвечал ей тем же.

Вот несколько эпизодов, ситуаций, красок, которые, быть может, прибавят кое-что к образу Поэта.

* * *

Помню туманный, словно в акварельных разводах, весенний пярнуский день.

Туманного марта намечен конец...

Иду вдоль залива аллеей. И вдруг вижу четкую графику деревьев — они сильно наклонены вправо, от моря — ведь оттуда постоянно дует ветер. И я словно присутствую при рождении четверостишья:

*Деревья прыгнули от моря,
Как я хочу бежать от горя —
Хочу бежать, но не могу,
Ведь корни держат на бегу.*

* * *

Тема ухода... Куда-то хотелось вырваться, быть может, что-то изменить. Теплее всего, роднее было дома, в Пярну, — с женой Галиной Ивановной и детьми — Пашкой и Петей. Но иногда, в порыве настроения...

— Давид Самойлович, но у вас все уже сложилось, утряслось... Поздно менять... Да и по большому счету — зачем?

— Да, да... верно... конечно...

И вдруг с энергией и затаенной силой:

— А — что?! Я — человек неожиданный!

* * *

Мера длины у Д.С. в Пярну была своеобразной: один эйнелауд (по-эстонски означает кафе, подвальчик, где подавали горячительное).

— До вокзала — два эйнелауда, до театра — три. Поэтому предпочитаю... театр.

* * *

Улица Тооминга (Черемуховая), где стоял островерхий дом Самойловых, — маленькая, изящная. На одном из домов мемориальная доска: здесь жил скрипач Давид Ойстрах.

— Когда помру, — говорил Давид Самойлович, — переименуют Тооминга в улицу «Двух Давидов». Чтоб никому обидно не было!

* * *

Прогуливаясь поутру, стучал палкой в окно детскому поэту Якову Акиму, который снимал дачу неподалеку:

— Яков, пойдем, выпьем коньяков!

* * *

Мой друг, замечательный петербургский скульптор Сергей Алипов решил извять Поэта.

Из записей Самойлова:

«1.03.1987. Алипов, измучив меня позированием, отбыл с моей пластилиновой головой».

Впоследствии Сережа отлил Поэта в бронзе. Замечательная работа. Давид Самойлович ценил Алипова как самостоятельного, самобытного мыслителя. Рождение бронзовой головы приветствовал эпиграммой:

«Зачем лепить каких-то типов?

Лепи меня, Сергей Алипов!».

* * *

Из записей Д. Самойлова:

«20.02.1987. Выехал в Ленинград с Колей Якимчуком.

21.02. Филармония меня не встретила. Поехал к Гореликам. У них и остановился».

В тот раз я сопровождал Д.С. на вечер в Концертный зал у Финляндского вокзала, где обычно и проходили выступления Поэта. В Таллине, до отхода поезда, остановились у славных Белобровцевых.

— Это мои друзья! — торжественно провозгласил Д.С. Вообще, дружба, дружелюбие — это, по-моему, одна из коренных черт Поэта.

Билеты достали только в плацкартный вагон, боковые места. Тусклая лампочка, несвежие казенные матрасы.

Уже почти уснули. Вдруг Давид Самойлович наклоняется ко мне:

— Коля, вон там человек сидит. Не взял постельное белье. Все взяли, а он не взял. Может, у него нет денег? Предложите ему рубль.

И Д.С. сунул мне мятую рублевку...

Утром, на перроне нас никто не встретил (хорошо, что я оказался рядом — Самойлов был беспомощен: видел плоховато). Стоял сильный мороз — что-то около тридцати градусов.

— Вот был бы обратный поезд — развернулся б и уехал! — в сердцах провозгласил Самойлов.

Потом, поостыв, сказал:

— Поедем к моим друзьям! К Гореликам! А Филармония пусть меня ищет!

Долго ждали трамвая — минут сорок. Его не было. Как пророчески написал Поэт, притянув ситуацию:

«Трамваи как официантки,

Когда их ждут, то не идут...»

Замерзли. Поймали машину. Доехали, отогрелись, пришли в себя.

А вечер, на удивление, прошел бодро и интересно.

* * *

Со слов поэта Евгения Рейна:

«Утром вышли погулять. Пяру. Чистый воздух. Жена, Галина Ивановна, категорически предупредила:

— Женя, следите за Давид Самойлычем! Никаких возлияний!

Через некоторое время Д. С. вынул четвертной:

— Женя, гуляем!

— Давид Самойлыч, ну зачем вам пить? — задал риторический вопрос Рейн, памятуя о наказе супруги.

— Как зачем? Чтобы выпить! — мудро изрек Поэт.

* * *

Зимний февральский вечер. Провожаем с физиком Борисом Захарчевой Д. С. домой, в Пярну. «Желтый пар петербургской зимы...» слегка клубится.

Самойлов в веселом расположении духа, идя по перрону сквозь метель, громко читает стихи:

*Тяжел уже стал. Никуда не хочу.
Разжечь бы камин, засветить бы свечу
И слушать, и слушать, как ветер ночной
Гудит и гудит над огромной страной.
Люблю я страну. Ее мощной судьбой
Когда-то захваченный, стал я собой.
И с нею я есть. Без нее меня нет.
Я бурей развеян и ветром отпет.
И дерева нет, под которым засну.
И памяти нет, что с собою возьму.*

* * *

Как-то, приехав в Ленинград перед Новым годом, Д. С. загремел в больницу. Находилась она где-то в районе Никольского собора (там отпевали Ахматову). Больница была плохонькая, серая, запущенная.

Из записей Д. Самойлова:

«29. 12. 1988. В больнице. Подозрение на инфаркт. Но его, конечно, нет.

30.12. Галя приходит каждый день. Иногда с детьми. Лежу не без удовольствия — все дела отпали...»

Д. С. не терял присутствия духа, общался с соседями и развлекался сочинением афоризмов, перефразируя Суворова.

Помню два безусловных его шедевра:

«Пилюля — дура, шприц — молодец» и

«Тяжело в лечении — легко в раю».

* * *

Из записей Д. Самойлова:

«4.02.1985. Заезжал ... Коля Якимчук из Пушкина. Говорит: «Ваши стихи совсем не похожи на статьи». Правда».

Меня тогда поражало, да и сейчас слегка удивляет вот эта разность стилей. Порывистые, энергические, легкие, как бы даже легкомысленные строки стихов и несколько наукообразные, тяжеловатые формулы заметок и статей.

* * *

Последняя большая работа Поэта — в новом жанре. Пьеса. Судьба ее нелегка. Единственный раз она была опубликована мной в альманахе «Петрополь» в 1994 году, уже посмертно. И до сих пор не поставлена ни в одном театре. А пьеса, на мой взгляд, замечательная. Актуальность ее по-прежнему не утрачена, и даже, уверен, возросла.

Вот существенное признание Самойлова: «Почему я написал «Клопова»? Потому что мне ничего больше не хотелось писать. Ни прозы, ни переводов, ни стихов».

Вот начало работы над пьесой.

Из записей Д. Самойлова:

«24 июля 1980 г. Пишу «Клопова», несмотря на дурное самочувствие.

31 июля. Писал «Клопова». У меня вдохновение выражается в желании скорее закончить работу.

6 ноября 1980 г. Вечером читал «Клопова». Козаковы, Лунгины... Лиля Толмачева... — слушали без восторга. Дельные замечания....

Читки «Клопова» ближнему кругу продолжают и дальше. Много театральных людей. Однако... пьеса не находит серьезного отклика.

«26 апреля 1981 г. Володин (Драматург — Н. Я.) говорил мне лучшие слова о «Клопове». Он не видит недостатков в композиции.

«29 июня 1981 г. Ю. Ким назвал «Клопова» чудной пьесой».

Но воз и ныне там — о постановке речи нет.

5 июля Д. С. с горечью записывает «Мой замысел не понят. Но покупатель всегда прав! Видимо, «К.» надолго обречен на непонимание. Нужен театр!»

Да, Самойлову нужен театр с большой буквы, поэтому не подошла пьеса и журналу «Театр».

Ю. Карякин обещал показать ее Ефремову и Плучеку. Тщетно.

Отверг ее и Товстоногов. «Первый удар по пьесе», — записывает Самойлов.

Спустя четыре года опять проблеск надежды — «Клопов» понравился Эфросу... Но...

Собирался ставить пьесу и русский театр в Таллине. Не склеилось, не сложилось...

...Пару лет назад я ехал в Псков, на театральный фестиваль, ночью с восторгом перечитал пьесу — отдал в Псковский драматический театр. Увы. Молчание. И все же я убежден, что когда-нибудь эта пьеса, глубинное, выношенное произведение Поэта, войдет в золотой фонд русской культуры. Тогда, когда, по словам Самойлова, «устанут от худого и возжелают лучшего».